

Леонид Гиршович

# Арена XX



Леонид Гиршович

**Арена XX**

«WebKniga»

2016

**Гиршович Л. М.**

Арена XX / Л. М. Гиршович — «WebKniga», 2016

ISBN 978-5-9691-1481-4

XX век – арена цирка. Идущие на смерть приветствуют тебя! Московский бомонд между праздником жизни и ночными арестами. Идеологи пролеткульта в провинциальной Казани – там еще живы воспоминания о приезде Троцкого. Русский Берлин: новый 1933 год встречают по старому стилю под пение студенческих песен своей молодости. «Театро Колон» в Буэнос-Айресе готовится к премьере «Тристана и Изольды» Рихарда Вагнера – среди исполнителей те, кому в Германии больше нет места. Бой с сирийцами на Голанских высотах. Солдат-скрипач отказывается сдаваться, потому что «немцам и арабам в плен не сдаются». Он убил своего противника. «Я снял с его шеи номерок, в такой же, как у меня, ладанке, и надел ему свой. Нет, я не братался с ним – я оставил улику. А себе на шею повесил жернов». «...Вижу некую аналогию (боюсь сказать-вымолвить) Томасу Манну» (Симон Маркиш).

ISBN 978-5-9691-1481-4

© Гиршович Л. М., 2016

© WebKniga, 2016

# Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Леонид Гиршович

## Арена ХХ

© Леонид Гиршович, 2016

© Валерий Калныныш, оформление и макет, 2016

© «Время», 2016

Гиршович – один из самых умных современных писателей, а обратная сторона ума – безжалостность. Но здесь безжалостность не жестокость, а отсутствие иллюзий, интеллектуальная честность, и холодность – не равнодушие, а мастерство художника, не позволяющего эмоциям возобладать над собой.

*АНДРЕЙ УРИЦКИЙ, «ЗНАМЯ»*

В наше время в России многие пишут хорошо, но куда девалось элементарно необходимое для прозаика искусство – искусство рассказывать историю? Гиршович один из очень немногих современных русских писателей, кто знает, как это делается.

*ЛЕВ ЛОСЕВ*

Гиршович в иных случаях довольно жесток и пристрастен. Легко и свободно разыгрывая виртуозную партию игры в бисер, где материал – вся мировая культура, он не прощает сентиментальных, прекраснотушных спекуляций на культуре.

*АНТОН НЕСТЕРОВ, «НЛО»*

Мы открыли Леонида Гиршовича, прочитав его роман-манифест «Прайс» – роман воспитания во всей симфонической огромности его оркестрового звучания. Ощущение чуда никуда не исчезло и по прочтении романа «“Вий”, вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя», где мы находим все то же, что так потрясло нас при первом знакомстве.

*СТЕФАНИ ДЮПЮИ, «LE MONDE», ФРАНЦИЯ*

Толстой, Достоевский... Гиршович – кажется, большой русский роман не умер.

*ЮДИТ ШТЕЙНЕР, «LES INROCKUPTIBLES», ФРАНЦИЯ*

## Часть первая

### Артист жизни

Дни были летные.

Три отроческие спины на пляже кисти Дейнеки: позвонки, как у динозавров. И все-то у этих трех отроков впереди, как тот, например, гидроплан, что над морем. Или представляешь себе «Футболиста» его же, Дейнекина письма... или Олешина? Кем там писано: «Блестящая белая ляжка, огромное израненное колено, чулок сполз на яростной кривой икре, нога ступней влипла в жирную землю, другая собирается ударить – и как ударить! – по черному ужасному мячу... Глядящий на эту картину уже слышал свист кожаного снаряда, уже видел отчаянный бросок вратаря».

Да-да, дни были летные, спортивные, слепящие лазурью. Аэроплан – дельфин облаков. До Черного моря далеко – взамен курортного прибоя языческое воскресное купанье в городских водоемах.

Летчик над городом. Облегающий голову шлем, защитные очки.

Там ждет тебя-а-а любовь! —

насвистывает он любовный марш тореадора, заглушая шум мотора. (Внутренний слух, как некая армия: всех сильней.) За спиною у него пассажирка: из-под непривычного шлема выбился белокурый локон. «Ваши глазки голубые...»

Далеко внизу крестословица города, таким его увековечит аэрофотосъемка. Решето дворов, рыжая шевелюра кровель. Непредсказуемые зигзаги желтого вагончика цв *эта* помешательства. Зеленые кущи берут в обстояние поверхность воды, утыканную гусиным пером парусного спорта. Горит, покамест на солнце, мыльный пузырь, пущенный сообща депутатами от всех фракций, – гореть ему не перегореть двадцать седьмого февраля будущего года! А на реке баржа меряется силой с буксиром: гусеница против муравья, кто кого перетянет. Муравей покрепче.

– Еще попомните меня, Давыд Федорович.

Предрекается это тоном, несообразным с разницею в годах: у Давыда Федоровича дочь – ровесница его собеседника. Последний широко пользуется тем обстоятельством, что в доме Ашеро<sup>в</sup> провозглашено равноправие поколений. Когда за Николаем Ивановичем закроется дверь, вслед ему не раздастся шипенье: «Из молодых, да ранний». Передовая семья, увенчанная дочерью, всегда будет опережать, хоть на полшага, передовую семью, где венцом родительского творения сын. Думаете, оттого, что Николай Иванович мог бы заместить сыновнюю вакансию? Вот, дескать, Ашеры и невестятся все втроем: Давыд Федорович, Маргарита Сауловна и Лилия Давыдовна – Лилия Долин – завлекая Берга симпатичным либеральным пошибом («У нас запросто»). Какое! Там горы таких бергов! Открытый дом, по вечерам чай с пирогами (только без гитарности, это уж, извините, в других местах, для нас вокал – святое). И вообще Лилечка вольная птичка, да еще кругом так много червячков, а клювик один...

Нет, иначе. У Ашеро<sup>в</sup> «запросто», потому что растить сыновей всегда закалка для отцов в ожидании предстоящего сражения, которое те им дадут; дочерей же растят с нежностью к их лону – наполовину бескорыстной, наполовину взлелеянной желанием сохранить себя в потомстве.

Сейчас Николай Иванович с Давыдом Федоровичем сидят, облитые солнцем, на веранде кафе «An der Oper». Давыд Федорович попивал «беково» из высокого зобатого стакана,

на котором почему-то было написано «кульмбахское». («Если на клетке “Бек’са” написано “Кульмбахер”...» и т. д.) Николаю же Ивановичу подали пшеничный «кристалл».

Когда надо будет платить, его молодость окажется проворнее, он первым расстегнет кобуру кошелька. Сие ни о чем не говорит. Столько не счесть тортов, сколько их можно съесть у Ашеро́в дома. И этому испытанию бесконечностью Николай Иванович подвергался неоднократно, топя ашеровские наполеоны в березине сладкого чая.

«Сколько ложечек сахару...» – анекдот про гостя, у которого нос величиною с корабельный ро́стр. Само слово, обозначающее вышеупомянутую часть лица, в присутствии этого гостя табу. И вдруг хозяйка, разливая чай, спрашивает, к своему ужасу: «Сколько кусочков сахара вы кладете себе в нос?»

Берг не отличался приметами Сирано, но, надо сказать, никакой нос не вместил бы столько сахару, сколько он себе насыпал. Мужчины-сладкоежки пользуются дурной репутацией с тех пор, как на авасцену вышла психология. Рауль Синяя Борода у Шарля Перро свирепо пожирал кабанью голову; Рауль Синяя Борода у Метерлинка будет пить какао и слизывать персиковый джем с булочки.

Николай Иванович съедал на обед кабанью голову кофейного торта; на простыне у него всегда имелись подозрительные следы, своим происхождением обязанные молочному шоколаду. (А матрасовка и вовсе напоминала шкуру гепарда.)

Но бывает, что человек вынужден заказать пиво. Тогда Николай Иванович спрашивал «белое берлинское красное» – это «дитя Берлина» («Berliner Kindl») подается в вазочке, наподобие мороженого с сиропом.

Официант сожалеет: в кафе «У оперы» кончился малиновый сироп – середь бела дня!

– Мм... Хорошо, пшеничное «хрустальное». (Плавающая в нем долька лимона с цедрой сойдет за мармеладку «лимонная долька».)

– Один «Кристалл», один «Бек’с», – повторил официант.

– Так вот, попомните, что я вам говорю, – поучал Берг Давыда Федоровича. – Время опер в переводах прошло. И Гуно, и Бизе, и Массне скоро будут даваться по-французски. Это профанация, когда Эскамиль поет:

Там ждет тебя-а-а любовь!

Несколько дам за соседними столиками обернулись, на что Берг раскланялся, приподнявшись, и продолжал с совершенно невозмутимым видом:

– Мелодия речи. Петь оперу *не* на языке оригинала это как выставлять фальшивого Леонардо да Винчи. А кто не понимает в оригинале, пусть клянет свою судьбу. Представляете себе, Герман запел бы: «Soll der Pechvogel weinen»<sup>1</sup>.

Это сердило Давыда Федоровича, который пошутил: «Даже если в Берлине разразится чума, не уеду. Здесь, слава Богу, разучиваешь с певцами их партии по-немецки». Дома в Динабурге говорили только на жаргоне. Никакой тоски по Петрограду у него нет. Хоть и кончил консерваторию у Есиповой, кто бы его, еврея, взял солорепетитором в императорскую оперу?

– А пошли б’?

– В императорскую – пошел бы.

– Коррепетитором, тапером, винтиком?

– Сильно заблуждаетесь. Работа с певцами, с замечательными певцами, дело творческое, требующее большой внутренней отдачи. И потом не сбрасывайте со счетов возможность иногда становиться за дирижерский пульт. В портфеле каждого солорепетитора лежит дирижерская палочка.

<sup>1</sup> «Пусть неудачник плачет» (нем.).

– От души желаю вам дирижировать «Кармен», которую поют по-немецки: «Там ждет тебя-я-я любовь!» Почему это они так на меня оглядываются?

– Потому что вы, Николай Иванович, ведете себя вызывающе. Известно, что они зовут «любовью».

Самого Давыда Федоровича, успешно выдавившего из себя раба условностей, это не смущало. А коллег по служению музам поблизости нет, в этом он поспешил убедиться, едва увидел Берга. «А, Давыд Федорович! Ну, с собутыльничком вас», – и плюхнулся на стул рядом.

«А вдруг я кого-то жду», – подумал Давыд Федорович и в отместку решил позволить Бергу за себя заплатить. Посмотрим, сколько этот *артист жизни* даст на чай.

«Артист жизни» – Берг сам так отрекомендовался в первый же вечер, на вопрос о роде занятий, в сущности, бестактный: ну как можно у эмигранта такие вещи спрашивать, эмиграция сама по себе уже род занятий, причем достаточно унижительный. Не каждый может, как Давыд Федорович, сказать о себе: «Вы знаете, служу в “Комише Опер”» – мол, как это вышло, сам не разберу, близорук-с.

Трудно себе представить, чтобы немецкая публика когда-нибудь променяла родную скороговорку «Фигаро здесь, Фигаро там» на непонятное бульканье. Берг нес чушь – Ашер смотрел в будущее с уверенностью. Тем больше ему не давал покоя апломб Берга. Давыд Федорович испытывал навязчивую потребность в подыскании контраргументов.

«Сердце красавицы склонно к измене», «Люди гибнут за металл», это уже почти фольклор. Сбрить целый культурный пласт ради иллюзии, что ты в миланской “Скале” и на сцене Титта Руффо... или ради иллюзии самого поющего, что он – Титта Руффо? Берлинец не тает при мысли о Милане. Для него заграница не приманка. Ну, в крайнем случае, забавный зверинец, Зоо, где обезьяны непристойно демонстрируют концы туловища, где верблюд работает под сфинкса, где сидят орлы подобьем вечности, уж и не чая благополучного исхода. Да чушь собачья! Немцы цветут здоровьем, у них с пищеварением то, что доктор прописал – в отличие от орлов. Шмитт-Вальтер не будет тебе петь по-итальянски с немецким акцентом, и чтоб в программке стояло: “Il Barbiere di Siviglia”. Будет написано: “Севильский цирюльник”! Кровное, свое, с детства привычное, без этого родная речь обеднела бы. И во имя чего? Ради переворачиваемых слов, не понятных ни поющим, ни слушающим, включая самих итальянцев? “Смьейся, паяц”. Какая там, к черту, мелодия итальянской речи!»

Давыд Федорович про себя распался – дорожил своим местом под берлинским солнцем. Хотя на провокации не поддавался и в споры не вступал. Но Берг нащупал болевую точку – тот в сердцах проговорился: «Окажись на улице, стану играть по кабакам».

Те, которые «мольто симпатико» (выражаясь на языке оригинала), и те, которые «мольто антипатико», наделены равной притягательной силой, вторые будут даже попритягательней – особенно для людей, нетвердо ступающих по жизни, вроде Давыда Федоровича.

Берг появился у них в доме необычно – «обычно», это если б кто-то его привел, но Берг самозародился, как какое-нибудь языческое морское божество. В понедельник вышла Лилия Давыдовна из дому (по понедельникам у нее «Театральная студия русского юношества»), вышла и видит: ее «фатерлянд» пропал, другие бисиклеты стоят привязанные, а ее нету – в обществе мужских рам то была единственная «дама», с радужным веком в полколеса. Расстроилась – еще как. Но тут заметила уздечку от своего замка: она была разомкнута и на нее нанизана записка, как квитанция на гвоздь. Позвонила по указанному номеру: «Вместо велосипеда я обнаружила ваш телефон». – «Совершенно верно... Вы, кажется, русская?» – «Кажется». В трубке переходят на русский. Голос низкий, не как у наших, и говорит не спеша, с сытым достоинством: «Шел, смотрю, кто-то забыл пристегнуть. Охотников до чужого добра – сами понимаете. Ну и предотвратил возможное безобразие, пустил вашего пони к себе в келлер. Это в пяти минутах от вас. Если вы подождете, я его приведу под уздцы». – «Не утруж-

дайтесь, я сама, спасибо». – «Вам искать, а я знаю наверное, где вы живете». Лилечка поблагодарила, а все ж, когда он появился, не утерпела, «вручила ему свою визитную карточку»: надеется, что господин Берг – он представился – сделал это не потому, что велосипед дамский. Похититель велосипеда не нашлся. От слова «ненаходчивый». Лилии Давыдовне стало совестно, и она пригласила его на чай: «У нас всегда кто-нибудь бывает». Берг как Берг: кратчайший путь из точки Б в точку Б. Никогда бы не подумала, что русский. «Хорошая мысль», – сказал Берг.

За столом, попробовав наполеон, он уже не мог остановиться и все приговаривал: «Милльфёй у вас необыкновенный».

– За спасение чужого «фатерлянда» вы выбрали себе в награду торт. Как видите, здесь награды раздаются щедро.

Это сказал инженер Урываев, однокашник Давыда Федоровича, тоже двинский... в одном классе... за одной партией... Господи!.. Они с Давыд Федорычем совсем позабыли о существовании друг друга, пока случайно не вынырнули рядышком, не просто в Берлине – в берлинском озере. Голова к голове. Мокрые волосы выдают мальчишество. Каждый сразу по тридцатке состругал. Смотрит одна голова на другую: что-то не то. А когда Урываев услышал на берегу, что по-русски говорят (Давыд Федорович пляжился с Маргаритой Сауловной), тогда подошел: «Премного извиняюсь, мы никогда не встречались? Александр Ильич Урываев, инженер». – «Саша? Сашка, майн готт! Дэвка Ашер, Воропаевское реальное... – и к жене: – Маргоший! В одном классе... за одной партией... Господи!» Урываев рассказал о себе: путеец, тоже жил несколько лет в столице, служил на Николаевской железной дороге. Потом Киев, Новороссийск, Москва... Перекати-поле. А здесь механиком, на аэродроме «Темпельгоф». Глупо, мать в начале войны дом продала, так бы хоть что-то было. (Знакомая история: сестра Давыда Федоровича, как над Ригой появились первые цеппелины, после Нарочи, за бесценок отдала отцовскую аптеку арендовавшему ее поляку.) Ходил даже одно время в плавание. Семья? Помнишь, пели: «Без детей, без жены здесь живут пластуны». Про меня. Полдня ползаешь по-пластунски под разобранными авиадвигателями.

После этой встречи Урываев зачастил к Ашерам. («Дэвочка, в нашем доме этот человек диссонанс и нонсенс», – крылатая фраза из Аверченки.) Давыд Федорович не спорил с женой. Да, глубоко символично, что ползает под разобранными авиадвигателями, при его-то полете мысли: «Раз в реальной жизни мы не поем, а разговариваем, то какого, извиняюсь, рожна на сцене выкомариваться...» А еще Урываев ходил в одних и тех же крапчатых носках и собирал купоны на бесплатную банку яичного порошка. («Маргоший, мой хороший, не могу... человек. Ходит же к тебе Зиночка». – «Сравнил».)

Но именно по причине человеколюбивого к себе отношения божественный статус человека бывший инженер утратил: сделался у Ашеров чем-то вроде хозяйской собачонки и лаем встречал гостей. Гости – молодежь. С взрослением Лилии Давыдовны возросла и «средняя продолжительность их жизни». Художнику Макарову уже стукнуло тридцать пять. Усы гребешком. Он состоял в романтических отношениях с «примаверой» любительской сцены Василисой Васильевской, дочерью знаменитого киномагната предреволюционной поры. Во время Гражданской следы киномагната трагическим образом затерялись. Василиса рассказывала, как он вышел на какой-то станции за кипятком, больше его не видели. Поезд тронулся, увозя ее с матерью и братом. Брат вернулся потом в Россию. Мать держит китайский вашсалон, где работают три русских китайца. «Жили-были три китайца: Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лим-помпони. И крахмала цыпы не жалели», – так говорит художник Макаров, писавший с Лилечки портрет, который был разыгран на благотворительном балу. Раз в неделю Макаров носит в вашсалон сорочки, не без оснований называя его «нашсалон». «А вот я у него никогда не выхожу», – жалуется Василиса Васильевская Лилечкиной маме Маргарите Сауловне.

Василиса вас выделяет, тонко вам улыбается, вам единственному. Не обольщайтесь. Портрет на стене тоже не сводит с вас глаз, где бы вы ни стояли. Вежливость красавицы. Некоторые женщины чувствуют себя в неоплатном долгу перед своей красотой. Поэтому не обольщайтесь.

И еще одна из компании «молодых». Переросток. Лилии Давыдовны она старше настолько же, насколько Макаров превосходил летами ее самое. На лице «ее самое» написано: зато я очень умное. Розалия Фелициановна Корчмарек, или Кошмарик.

Приходили и уходили исполнители других ролей. Узнавался запудренный юноша в черном заворсившем папильоне, игравший желваками по рецепту мужественных тиков; близнецы в шотландских юбках с одинаково мужскими голосами, одним и тем же картинным движением синхронно подносявшие к губам одинаковые костяные мундштуки, одинаково мусоля их помадой, вопреки расхожему мнению, что двух совершенно одинаковых мундштуков в природе не существует. При желании можно было еще кой-кого узнать: порой в человеке легче опознать цитату, чем пол.

Берг ничего не видел вокруг себя, сосредоточившись на торте с основательностью Собакевича. Даже не тотчас пнул Урываева – собачонку, по собачьему обычаю залаявшую на своего; или как раз на чужого, по собачьему же уставу – кидаться на чужих. Как Урываеву было не вцепиться Николаю Ивановичу в лодыжку, ежели безнаказанно. Которые с полным ртом – беззащитней натягивающих брюки: подходи и бери.

– Вы, верно, из балтийских немцев, господин Берг? Наш бы вскочил на велосипед, только его и видели.

– Я остзейский барон.

– Обедневший?

– «Я остзейский барон, у меня много жен...»

Не такой уж и беззащитный. Знал на память всего «Вертера», всего «Фауста», «Сказки Гофмана» – всю французскую оперную литературу. С французским на ты.

– Вы действительно барон? – на личике у Лилечки написано презрение к знати. Палимпсест, конечно.

– Я его незаконнорожденный сын. По этой линии баронство не передается.

Домашняя заготовка, с помощью которой Берг завладел гостиной.

– А позвольте узнать, чем вы занимаетесь?

– Я – артист жизни.

Со всех сторон: «О...»

– А что это значит?

– А то значит, что можно быть артистом балета, можно быть артистом кино, можно быть артистом оркестра. Я – артист жизни. Жизнь это материал, из которого я ваяю.

– Вы, что ли, Господь Бог?

Почти всегда кому-то приходит в голову это сравнение.

– У нас с ним общие задачи – препровождать зло по месту жительства. Я это делаю каждый день, когда поднимаюсь по лестнице к себе домой.

«Ах вот как он повернул. Интересничает».

Что у отца на уме, то у дочери на языке.

– То, что вы говорите, очень интересно. Немножко глуповато.

– Каково это – делить со злом кров, стол, постель, вам объяснит каждый страдающий каменной болезнью, – продолжал Берг, не снисходя до «Лилии Долин».

«Может, он сумасшедший?» – думает Давыд Федорович.

– История моего театра – театра, где служу я, – история борьбы с каменной болезнью. Камни бывают не только в печени, в почках или в пузыре. Они бывают и в сердце. Какую воду пить страдающим камнями в сердце, какую держать диету...

«Нет, просто дурак. Выспренный дурак...»

– Происхождение камней объясняется недостатком гигиены питания. Начав есть сладкое, мы не можем остановиться. В гастрономии добро и зло различаются на вкус. Камни – порождение добра. Притом что гигиена – мораль тела. То же самое происходит с моралью общественного тела. Что нам по душе, то и считается благом, а что не по душе – злом. Это ведет к образованию камней в сердце. Если бы в основе нравственного закона, которому мы следуем, лежало зло, результатом было бы идеальное, абсолютно здоровое общество. Как добро порождает зло, так же и зло творит добро. Об этом еще знал Гете. Достоевский списал у него: «Я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро». Помните, Мефистофель в «Фаусте» поет: «Une partie de cette force qui vent toujours le mal...»

Давыд Федорович про себя вздохнул: «Не так уж и глупо».

Берг был собой доволен. Первоклассная режиссура, постановка удалась. Но тут...

– Но тогда почему же вы позаботились о моем велосипеде?

Этого вопроса, по логике вещей неизбежного, Николай Иванович не ждал. Беда «артистов жизни» в том, что в жизни занавес падает не тогда, когда хочется. Берг выпалил с подкупающей искренностью:

– Потому что хотел с вами познакомиться.

– Браво, – сказал тридцатипятилетний Макаров. – Что и требовалось доказать. Благородный поступок с корыстными целями.

Берг был приписан к «молодежи». Как бы... Вообще-то у него «сложилось» с Давыдом Федоровичем. Оба очень скоро нащупали способ доставлять друг другу сокровенную «ласку». Давыда Федоровича манила развязность этого юнца – Николая Ивановича, особенно в сочетании с тем гадостным, что им говорилось. Давыд Федорович легко подыскивал контраргументы, но почему-то всегда в отсутствие оппонента. Берг безжалостно (да жалости от него никто и не потерпел бы) топтал профессиональное достоинство человека, служившего – да, винтиком! – зато там, куда Берга пускали только по билету и только в зал.

Артистами жизни не рождаются, ими становятся, когда ни к чему другому свой артистизм приложить не удалось. В лице Давыда Федоровича Берг казнит театр. Но можно подумать, что он не предлагал Мефистофелю свою душу. Не взял, подлец! Николай Иванович настолько любил оперную позолоту, что хотел ее скovyрнуть, – так дети от восторга ломают любимую игрушку. Отнес свою душу в ломбард, а Мефистофель ему ничего за нее не дал. «Моя мать пела Миньон, Розину, Марту, мой отец стоял за дирижерским пультом, я рос за кулисами...» Николай Иванович торопился изложить свой взгляд на оперу в плане режиссуры – вечный безбилетник, он жаждал театрального поприща. И даже не сильно грешил против истины, рассказывая, что ребенком дневал и ночевал в театре. Если б еще уточнил, где конкретно – там, где дробившийся о раму чердачного окна столб света роился пылью от старинных нарядов, шитья, кружев. Для облачившихся в эти самые кружева, камзолы, фижмы он... ну как звать-то... у которого еще башмак на тройной подметке... вспомнил, дядей Ваней! – для всех этих мнимых испанских грандов, корсаров, придворных дам он был всего лишь сыном хромого костюмера Иван Иваныча Карпова. Мелкое чувство превосходства над теми, кому со служебного подъезда вход в театр заказан, лишь усиливало комбинацию гордости и зависти, которая зовется «подпольным человеком», «русской душой» – всем тем, что так легко можно будет заковать в броню немецкой фамилии. Инерции детства хватит на всю жизнь.

– Золотой век оперы в прошлом, серебряный на излете, грядет медный, – говорил Берг шеф-редактору издававшейся в Страсбурге «Галльской Мельпомены»; из жрецов этой недобогини monsieur Pierrot единственный, кто сохранил присутствие духа, выслушав «Бергов манифест». – Золотой век, – говорил Берг, – был веком золотых голосов. Чем выше колоратура, тем выше сборы. Потом настал век диктатуры дирижера. Дирижер изгнал сладкоголосых Адама

и Еву из рая и стал грозой оперного театра: надел на певцов намордник, выпустил из оркестровой ямы сторукого демона. Но владычеству его волшебной палочки приходит конец. Дирижера свергнет режиссер, подлинный демиург сцены. Плебс, именуемый публикой, жаждет зрелищ. Как поющую парочку вытеснила оратория, так и ораторию заменит представление. Опера двадцатого века – барабанщица современного театра. Пора кончать с вавилонским столпотворением, опера должна петься на языке, на котором писалась. Европа объединяется, опера тоже. Время национального мещанства кончилось, война проиграна всеми. Слово больше не боевой клич нации. Спетое, оно освобождается от смысла, само по себе становясь музыкой. Все эти смехотворные либретто будут перелицованы. В «Кармен» кондитерская фабрика заменит табачную. Изготовление сигар – чертовски прозрачный намек, а фабрика сладостей, где одни женщины, – ну что ж. Среди этих женщин Кармен – чужеродное тело в буквальном понимании, она переодетый мужчина. «Хабанера» вдвойне порочна. Борьба за бригаде Жозе между Кармен и Микаэлой – борьба между гомо- и геторосексуальностью, связанной в подсознании с образом матери. Микаэла, в первой сцене ставшая жертвой группового изнасилования, олицетворяет собою мать: постоянно взывает к сыновним чувствам бригаде Жозе. Методом психоанализа исследован и бык-тореадор. Поэтому он с позолоченными рогами. Как Зевс. Хор гаврошей ожидает кастрация – сколько будущих Фаринелли сразу!

И он набычился, метя золотыми рогами в сердце Пьеро.

Monsieur Pierrot не спасовал – прочие из сильных мира искусства, на кого Николаю Ивановичу удавалось обрушить поток затверженного красноречия, каменели, словно пассажиры почтового дилижанса, подвергшегося нападению грабителей.

– Как бы не так, – мужественно сказал главный редактор «Галльской Мельпомены», – довоенная жизнь продолжается. Публика одета по современной моде, но это не отменяет ее старых привычек. Посещение оперы – одна из них. Сегодня, когда сердца охладели к отечеству, только опера не стыдится быть национальной. Она – легитимная отдушина для радикалов, в душе остающихся консерваторами. А вы предлагаете какую-то помесь цирка с кинематографом. Это может быть хорошо для пролетариата. Вы русский. Попробуйте заинтересовать этим в Москве. У вас на родине поставлен великий эксперимент. Ваши земляки лишены предубеждений. Им не чудится в каждом темном углу шарлатан.

Давыду Федоровичу было бы отрадно услышать про темный угол, кишасший шарлатанами вроде Берга. Увы, Давыд Федорович не понял бы по-французски... увы, увы, увы. Реалистичном воропаевским отрок Ашер не выказал примерного усердия. О научных же классах консерватории и говорить не приходится, там все сдавалось на арапа. С юных дарований какой спрос.

Троекратное увы. А Берг шпрехал по-французски еще со времен костюмерной. А уж как его французский расцвел в Иностранном легионе: «Allons enfants de la Patrie...». Недолго, правда, играла «Марсельеза». Николай Иванович попал в историю. Об этом он вспоминал с горечью человека, которому нечего скрывать. Туареги атаковали их госпиталь – он был шофером санитарной машины. Ну, сумел под огнем вывезти кассу. («А больных, а раненых?» – спрашивала Лилечка. «Они были туарегам не нужны, нужна была касса».) Но сейф почему-то оказался пустым. И хотя ничего доказать нельзя было, его уволили. Зато медсэпшеф вернул долг чести.

Николаю Ивановичу приглянулся Берлин. Работу подыскал себе под биографию, чтоб потом ее было легче учить в школах: «харонит» в похоронной конторе. На вывеске черт с вилами и огненными буквами написано: «Похороны Мудроу, осн. в 1818». У Томаса Кука за стеклом выставлена игрушечная железная дорога, а у черта Мудроу витрина имела вид крематория: фигурки в черном, орган, миньютюрный гробик, перед которым гостеприимно распахнулись воротца печи.

Русским берлинцам витрины тамошних похоронных бюро давали повод лишний раз позубоскалить. Немцы недоумевали. Недоумение чаще всего сменялось презрением к варва-

рам: белья не носят, зато до утра готовы на весь дом спорить друг с другом о политике. (Наш брат в описании какого-то нобелевского лауреата. Нобелевскую премию всегда присуждают неизвестно кому.)

Еще Николай Иванович совместительствует ночным таксистом. Тоже ничего себе работенка: откалывай от жизни глыбами и ваяй. Вдохновение Берг черпает в реальном риске, который сопутствует творческому акту. Кто стучит молотком по троянке, тот подвергает опасности лишь плод своего воображения, но кто кромсает по живому – живота своего не щадит.

Как раз и ценно то, что он не импровизатор. Приравнивает спонтанность к бескорыстности и размашисто ей аплодирует улица. Они, как годовалые, которые тянут в рот что попало. Артисту жизни спонтанность не пристала, а то б артистами были все. Все живущие на земле – артисты жизни. Вот оно, вожделенное равенство людей – не «равенство гордое» человека. Но это же еще и понимать надо... (Импровизация – любимая мозоль Николая Ивановича.)

Николай Иванович вознамерился исполнить этюд под названием «Турандот». Калафу предстоит на высоте непомерной заносчивости балансировать без страховки. Балансиром – Лилия Давыдовна. Она же не робеет высоты, не боится разбиться.

– Александр Ильич, а нет такой услуги – катать в аэроплане над Берлином? – спрашивает она у главного консультанта в вопросах воздухоплавания Урываева.

– Манфред фон Шписс, – сказал Урываев и сделал паузу. – Неужто не слышали? «Пегас». На его счету три дюжины моторов.

– Наших?

– «Наших»... Скажете, барышня. У нас столько и не было. Французских! Он считал их на дюжины. Как устриц. А еще с британской авиаматки однажды сбрил все. Манфред может взять пассажира в небо. Но он отчаянный...

– Я тоже.

– Да я не о том. Дон-Жуан, извиняюсь, отчаянный. Вот как раньше брал верх над французами, так теперь над женщинами. Не знаю, на сколько счет ведет своим победам – даже уж и не на дюжины. На сотни. («In Almagna duecento e trentuna»<sup>2</sup>, – страничка из блокнота Лепорелло.)

– Это что, услуга за услугу? – на личике у Лилечки очередное презрение, на сей раз к Урываеву – во всяком случае, не к авиатору. – Эти победы над женщинами существуют исключительно в вашем воображении, Александр Ильич. Вас женщины не очень-то баловали, вот вы с ними и воюете. Лично мне ваш Пегас не опасен... если он, конечно, хорошо летает.

– Могу с ним поговорить, – Урываев взят в дом без права обижаться – есть же трамвайные билетки «без права входа с передней площадки», голубенькие. – Я перед каждым вылетом его мотор по косточкам перебираю. Скажу: бесстрашная русская душа хочет оказаться с ним на седьмом небе.

– Это значит, в раю. Еще накаркаете.

– Александр Ильич, а почему бы вам самому на пилота не выучиться? – спросила Васильевская.

– Эх, Василиса Родионовна, отвечу вам словами Горького-поэта: «Рожденный ползать летать не могёт».

И вдруг Корчмарек вспыхнула, как засидевшаяся в девках конфорка – краник открыт, да спичка замешкалась. П-пых! Пламенем из всех дырочек.

– Больше никогда не смейте повторять это! Сам он «не могёт».

Даже перестала быть таким уж кошмариком. Вот что гражданские страсти с человеком-то делают.

Урываев глупо засмеялся:

---

<sup>2</sup> В Германии двести тринадцать (*итал.*).

– Это вы, что он вернулся? (Подразумевался Горький.) Слаб человек. Только зачем так волноваться, Розалия Фелициановна...

Давыд Федорович словно очнулся:

– Лилось, ну зачем тебе это? Мы с мамочкой волноваться будем. Господи, под облаками очутиться...

– А может даже и в облако нырнуть, папа. «Аэроплан – дельфин облаков», знаешь, кто это сказал? А я тоже получу шлем, Александр Ильич?

– Ну постойте, я же еще ни о чем не договорился... А вообще, Дэвочка, ты можешь спать спокойно. Я эту машину знаю как свои пять пальцев, я за нее отвечаю. Случись что, меня же первого за ушко да на солнышко. Манфред фон Шписс среди авиаторов, что твой Карузо среди певцов.

– Лучше пусть он вас покатает, – Макаров кивнул на Берга. – Я недавно видел: проехал один такой автомобиль, а оттуда марш из «Аиды».

– Нет, я хочу по порядку, сперва на аэроплане, потом на катафалке.

– Может, то был похоронный марш, вы перепутали.

«Остроумцы...» Николай Иванович всегда был серьезен, ни тени улыбки. И когда попросил у Лилии Давыдовны позволения в понедельник встретить ее на Вельзунгенштрассе, где помещалась «Студия русского юношества», то сделал это серьезно, торжественно, словно предлагал руку и сердце. Студийцы ставили «Дочерей Даная», но ему, в отличие от сыновей Египта, не было отказано: любопытно же, что он затеял.

– Нет, это будет сюрприз, – сказал он.

Обещанный дождь не состоялся, напрасно взятый зонт подлежал возврату в кассу театра. Берг пришел заранее: стрелке оставалось преодолеть еще двадцать делений. Она делала это рывками, после каждого мелко содрогаясь. Монокль циферблата был вправлен в башню кирпичи, которая мотыжила сквер, сквер порос скамейками.

С соседней поднялась женщина и прошла мимо Николая Ивановича, толкая двухместную коляску: близнецы махали ему на прощанье пиратскими флажками. Станут ассистентами режиссера в Комической опере. Николай Иванович был мастер мысленно наносить возрастной грим и, наоборот, смывать его, прозревая личинку человека. В няньке просвечивала дворовая Эльси, подобострастно делающая взрослым дядям книксен: «Данке шёёён». Николай Иванович видел, как, привычно присев спиной к стене, она ловит мячик: тот отскакивал от кирпичного забора и, ударившись о землю, пролетал между ног.

Он дождался Лилию Давыдовну – Лилию Долин (в обоих случаях вензель «Л. Д.»). Уже половина, но энтузиазм русского юношества не знает границ. Стрелка продолжала спазматически двигаться. Покончить с этой агонией одним-единственным способом? Встать и уйти? Это было бы непростительным слюнтяйством. Именно уйти было бы слюнтяйством, а не терпеливо, по-собачьи, дожидаться. Готовых рецептов нет – раз на раз не приходится. По вкусу солить, по вкусу сластить. Мой кайф – отрубить тебе голову. А тебе майн кайф не в кайф.

Ну ладно, так и быть, хочешь патентованное средство от всех болезней сразу – и от скуки жизни, и от бледной немочи, и от бесславия? Обзаведись тайной, и все как рукой снимет. Да хоть тайный порок! И мир тут же вострепешет. Говорили про Плетнева: что с гримером надо быть начеку. И когда однажды Николаша оказался с ним наедине в уборной, то страшно разволновался. Отвернулся и стал водить пальчиком по завиткам парика на болванке. Но тот не предпринял никакой попытки.

Но тайна тайне рознь. Умоляюще, по-собачьи глядящий из темного закоулка души – это не наш Федот. Тайная сила, а не тайная слабость – вот что нужно. Одно дело есть экскременты за ребенком и другое – решиться на преступление. Душитель девочек, которые скакали через мячик и говорили «данке шёёён», тоже вдыхал запах невымытой детской кожи, но он при этом

наводил ужас на весь город. Когда его тайна открылась, он высокомерно произнес, едва шевеля губами, с надзвездной печалью в огромных навывкате глазах, глядевших из-под полуопущенных век: «Кто вы? Что вы? Кто вы вообще, чтоб меня судить?». Его презрение было убийственной их ярости. Они даже не осмелились вслух сказать, почему его, Петера Лорре, надо лишить жизни. *Лишить – жизни...* Только вдуматься в эти слова: *жизни... лишить...* Доктор Лессинг из Ганновера, имевший, как он выразился, сомнительную честь быть защитником на этом процессе, настаивал на том, что Лорре болен, что его надо *лечить*, а не *лишить*. Еврейский пошляк этот Теодор Лессинг<sup>3</sup>. Все они «Теодоры», вот и Давыд – тоже Федорович... Величие, милостивые государи, определяется расстоянием – не направлением. Не важно куда идешь, важно как далеко зашел. Не можешь защищать чудовище – не берись. Лучшая защита Лорре – отказ от защиты. Но и логика обвинения столь же ничтожна: «Ах, он болен? Ах, он не может не убивать?». Вердикт гласил: «Истребить, ибо болен». Ничтожества! «Истребить, ибо этого требует мое нравственное чувство. Смысл наказания в удовлетворении потерпевшего, мера наказания в сердце потерпевшего». Но вы такие нравственные, такие высоконравственные, что боитесь своей нравственности.

Берг хотел высказать это все председательствующему Фрицу Лангу, но к нему не подступиться. Николая Ивановича просто не пустили на кинофабрику.

– ...Заставила вас ждать? Вышел скандал с египетским послом. Василиса надела ему на голову ведро, а там вода. Саботаж.

– Ах да, вы же «Данаид» репетируете. Вы Гипермнестра?

– Вася – Гипермнестра, я же сказала. Кто с послом египетским говорит? А я Старшая Дочь. Трояновский-Величко считает, что мне эта роль подходит как нельзя лучше, даже предлагал переименовать: «Данаиды» в «Давидиды».

– Как нельзя лучше вам подошла бы роль Турандот.

– Так хочется вам моего унижения.

– Почему? Счастья.

Появился трамвай. Едва успели вскочить с передней площадки. Кондуктор слова не сказал, и на Николай Ивановичево «два по двадцать» как ни в чем не бывало оторвал два билетика от голубого рулона. Странный немец. Может, шпион?

О ремни поручней хорошо бритву править, а они держались за них. Так и не присели, в пустом-то вагоне.

– Гипермнестра... когда говорит египетскому послу, – Лилия Давыдовна, не отдышавшись, с чувством произносит: «Учи тебя, все впустую, дырявая твоя башка», – она ему на голову ночной горшок... И дно прошибает... Прообраз бездонного сосуда... На представлении будет специальный горшок... Естественно, пустой... А тут полгоршка воды... И все это Васечка на него...

– Воды? Или какой-то другой жидкости?

Гром не грянул – кондуктор объявил остановку под названием «нам выходить».

– Следующая Фазаненштрассе, – и качнулся всем телом, как повешенный.

Сходя с подножки, она отметила, что Николай Иванович переложил зонтик в левую руку, чтоб подать ей правую.

«Что делают с тростью, когда идут с дамой под руку и надо приподнять шляпу? А если под руку с военным и он должен взять под козырек, а дама идет справа, потому что слева у него шапка?»

---

<sup>3</sup> Теодору Лессингу, подробно разбиравшему дело серийного убийцы Фрица Хаармана, приписаны слова адвоката из фильма Фрица Ланга «М», где роль маньяка-педофила исполняет Петер Лорре.

– Николай Иванович, вы же служили где-то там... Во французских войсках. Дама, когда идет с военным, опирается на его правую руку, не так ли? Иначе своей шашкой он ей все чулки изорвет. А как же честь отдавать? Он ей, что ли, локтем в глаз?

– Там, где я служил, женщина не брала мужчину под руку.

– Хорошо, ваш зонт – та же трость...

– Я не хожу с тростью, это несовременно. Все говорило за дождь, я взял зонт. Я представил себе ваши чулки забрызганными... – подумал: «кровью» – и улыбнулся. На ней были шелковые «самон». Каково было бы их изорвать?

Они уже свернули на Фазанью – ее улицу.

– Я вам сейчас что-то покажу.

Сверкнул нож – после чего Петер Лорре принимается чистить яблоко, хоть зал и ахнул: сейчас зарежет. Берг поступил еще неожиданней: подошел к ее велосипеду и мигом отомкнул с помощью ножа.

– Ну как? Все ясно? Проще пареной репы – не то, что сейф.

– Вы довольно гнусный тип. Не потому, что вы это сделали – потому, что вы мне это показали.

Он проводил ее до входной двери взглядом, закрыл велосипедный замок, а то пройдет какой-нибудь русский человек, вскочит на него – только его и видали.

С неба уже падали... что там с неба может падать, кроме аэропланов? Правильно, капли. Редкими тяжелыми слезами, отчего асфальт сделался крапчатым, открывая секрет носков Урываева.

Этого ли добивался Николай Иванович? Нетрудно убедить себя в чем угодно, если производишь расчеты задним числом, как то принято в артистической среде. Да, такова его версия «Турандот». «Я хочу вам счастья», – сказал Калаф. – «Нет, унижения», – отвечала Турандот. Ну и получила, что хотела. Уговариваешь себя, что это творческая находка. Аргументы – как монпансье на сон грядущий. Ландринская слюна засыпанья: «...Калаф, тебя постигла творческая удача...»

Над самым ухом рассек воздух з-з-звuuуук... У-у, коварный укуситель! Выбирают самый нежный миг. Заработала противовоздушная оборона. Пах! Пах! Пах! Отшлепай себя как следует. В Алжире комаров зовут з-з-звuuуувв... В древних языках письмена видоизобразительны, а слова звукоподражательны. Вот оно, тождество звучания и изображения. Музыка и живопись сольются, как сны и явь, как зренье и слух. Музыкальный театр – верх слиянности искусств. Подлинная опера еще не наступила – светлое будущее вагнеровской музыкальной драмы. Но скоро! Завтра зашагает по парижским площадям «chantiers de jeunesse»<sup>4</sup>. Детский хор в «Кармен» превзошел все ожидания: маршрутирует с песней «Die alten bösen Kinder»<sup>5</sup>. Бизе писал по-немецки, это оговор, что он француз. А шестнадцатитомная французская энциклопедия на русском языке уже обрадовалась: «Жора из наших». Да он вам по зятю Бизе! Когда ты пел в хоре, о Плетневе тоже плели, что совмещает гримерство с хормейстерством, что у кого сопрано, тому оставит его на всю жизнь. Уже повел тебя на медосмотр в театральную уборную, где старым злым детям...

Свернувшись Калафом, во сне ел калач аж до заворота простыней. Прободение сна позабытой реальностью. Какое-то мгновение еще выбираешь между необъятным Берендеевым царством величиной с мир и республиканским шильцем. Выбор неизбежен в пользу демократии. Николай Иванович спал не в ночной тунике, и не в пижаме, а в одних трусиках. Свою берлогу

<sup>4</sup> «Поющая молодежь» (*фр.*) – официальная молодежная организация в оккупированной Франции в 1940–1944 гг., аналог муссолиниевских «Молодых ликторов Италии», франкистского «Фронта молодежи» и т. п.

<sup>5</sup> «Старые злые дети» (*нем.*), парафраз гейневского «Die Alte böse Lieder» (в переводе Левика «Вы злые, злые песни»).

ни с кем не делил, усовестился бы архипелага поверх матрасовки: хоть пятна и поблекли до бесцветности, это посередке, а с краев каждое как перышком обведено... как провололочкой обнесено...

Николай Иванович не представлял собою исключение из почти незыблемого правила, что обидчики всех на свете обидчивей. О, как он был уязвлен! Сто раз себе повтори: какой вчера вышел прелестный этюд под названием «Турандот», сотню раз скажи себе, что Принчипесса Данаевна меньше всего ждала такого исхода. И никакой Васеньке ведь не посмеет признаться, в чем его вина перед нею, не пожалуется на то, что выжлец – он, а она дичь... Все так, все так, все так. И тверди это себе тысячу раз и утешайся этим, да только не ждал ты такого исхода: «Гнусный тип». Этюд провалился.

Николай Иванович налил чайник, доставшийся от предыдущего жильца, которого за три недели до своего вселения сам же и транспортировал на Тегельское. Без отпевания. Вот такое случайное совпадение А что, бывают совпадения неслучайные? Вообще, что чином повыше, случайность или преднамеренность? От этого зависит... О, от этого зависит все. Есть Бог или нет.

Чайник, унаследованный от самоубийцы, был, как и его владелец – свой в доску, тоже русский человек. Червевидный носик служил для утоления жажды многих российских подданных. Почему чайник не разделил судьбу других чайников, а эмигрировал? Да очень просто: в пути это вещь незаменимая, за кипятком бегали на каждой станции. Отец Василисы-красавицы, он же отец русского кинематографа, отправился за кипятком с точно таким же. Ах, если б из «точно такого же» он превратился в «тот же самый»! Посредством мало ли каких жизненных хитросплетений, своей осмысленностью свидетельствующих в пользу Того, Кто «чином повыше»... Ах, какой бы вышел шедевр жизнетворчества!

Пока Николай Иванович выстраивал мир, закипело. Конструкция у спиртовки была невиданная, творение немецкого гения, которому нет равных в горе, надежде и радости (начало цитаты). Спирт помещался в медном шаре; если повернуть винт, спирт просачивался в черный желобок. Надо было чуть-чуть выпустить, завинтить опять и поднести спичку. Загорался мягкий желтоватый огонь, плавал в желобке, постепенно умирал, и тогда следовало открыть кран вторично, и с громким стуком – под чугунной подставкой, где с видом жертвы стоял круглолицый жестяной чайник с кофейным родимым пятном в полчерепа, – вспыхивал уже совсем другой, матово-голубой огонь, зубчатая голубая корона (конец цитаты).

Николай Иванович почему-то вспомнил – о, эти хитрющие «почему-то» – что приехал Васечкин брат. Собственно, приехал не к ней или к матери, а с советской киноделегацией – на показ их очередной эпохальной фильмы. Брат пошел по стопам отца, которому обязан своей, далеко не последней в истории русского кинематографа фамилией, вот только был ли, помимо нее, унаследован им и отцовский дар (как чайник – Николаем Ивановичем), или большевикам льстило иметь своего Васильевского? Они теперь скрепляют кровью позвонки, чают преемственности.

Третьего дня Василиса Родионовна привела Родиона Родионовича к Ашерам, это была очень забавная встреча. Ашеры поживались: не хотелось попасть в большевизаны. А с другой стороны, сколько можно озираться на «княгиню» Александру Семеновну Дембо?

Раздался звонок. Подобрались. Оттудашний. («Духа вызывали?») Одет таким он франтом. Золотая цепочка легла буквой J – не похоже, что в жилетном кармане якорь с «Броненосца “Потемкин”». Кровные узы с Васей налицо без ехидной оговорки: дескать, что в ней влечет, то в нем отвращает. Разве что немного морда шкафа, зато Родион Родионович вполне импозантный товарищ. Не в пример Николаю Ивановичу. Тот – выжлец, гончий кобель, которым Главный Выжлятник травит род человецый. Николай Иванович и дышит-то не как все нормальные люди, он нюхает воздух.

Братец Васеньки Родионовны Родион Родионович самим фактом своего появления поверг в трепет эмигрантские души: повеяло с полей Родины. Тактично обходились острые углы – не скажешь. Обходились, но бестактно. Пришелец из будущего, желая сделать хозяевам приятное, назвал немецкое кино лучшим в мире – как если б пришел в немецкий дом. Нахваливая Берлин, говорил «у вас»: «Перещеголяли Америку. Какое у вас движение на улицах». И получалось, со своим «у нас» они были самозванцами по обе стороны пограничного столба. Эмиграция – это утопия. При всех технических завоеваниях современной науки никто еще не научился селить людей в прошлом.

Макаров на сей раз позабыл усы дома. Обычно они воинственно стояли на чужих. Но в случае с Васечкиным братом в этом было бы что-то кровосмесительное.

Урываев, мастер на подкожные колкости, отложил сеанс китайской медицины. Он долго переводил взгляд с гостя на хозяина – и на других гостей. Потом вздохнул: настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя...

Николай Иванович держался отстраненно. Не принадлежа ни к одному из лагерей, он был сам себе лагерь, который разбил на дальнем холме, и, пока настоящая жизнь радостно о себе трубила, бился с наполеоном, делая это без лишних слов и без победных реляций, звуки которых почитал необходимым от посторонних ушей скрывать.

– ...Приходится брать во внимание высокие риски, зато это удовлетворяет потребностям нашего зрителя в жизненной правде, – говорил Родион Васильевский-младший. – Это отличает нас от Голливуда...

Николай Иванович не любил Голливуд, но это еще не значит, что он любил тех, кто Голливуд не любит. Лучше б уж любили... дуры...

И в процессе чревоугодия, каким-то чудом не препятствовавшем процессу чревоутождения, он пробурчал (с полным ртом не больно-то поговоришь):

– Ох уж мне эта советская грамматика: высокие риски... большие пiski... Правда-матка неподмытая. А сами строят Голливуд-сити в центре Первопрестольной.

Но когда закипело и стих шум воды, чаю расхотелось. Николай Иванович смотрел на отечественный чайник... Сердце не камень, душа не кошкодав. Питал жалость к себе: обезглавленный Калаф. Он оделся и решил сходить выпить кофий в радио-кафе, тем более, что давно собирался.

Радио-кафе было новшеством. Их открылось сразу несколько, ближайшее называлось «Савиньи» – на Савиньи-плац, в десяти минутах отсюда. Вечером они переполнены, а до полудня, кроме как по воскресеньям, всё пустует: и кинозалы, и купальни, и искусственный каток, и громадное, в поперечнике полсотни аршин, колесо в Тиргартене, которое все равно запустят и ради одной кабинки, верней, ради двух человек в ней. А вечером под колесом выстроится часовая очередь из желающих вознестись над Берлином – не всем же улыбнулось убийственное счастье: полетать на Пегасе.

К кофию Берг спросил себе «бёмише занэторте» – божемский сливочный торт, бросил в щель монету и прижал к уху радионаушник. Столики целомудренно отделялись один от другого загородками, как писсуары, – в знак того, что внимать радио было делом если не стопроцентно интимным, то достаточно приватным.

Радиостанций имелось несколько. Какой-то «мицци-шмицци» смешил публику, перемежая свои носатые хохмы такими же носатыми песенками. По другой станции последние новости. Николая Ивановича они не возбуждали ну ни с какой стороны – ни слева, ни справа. Да, фон Шлейхер с его десятыми долями процента, да, драчка в Альтоне – что нам-то с немецких страстей. Николай Иванович оставался бесчувственным бревном, слушая зажигательные речи этих продажных тварей, вот уж теперь и в трубке, за установленную таксу.

Наконец-то музыкальная программа. Никакой политики. «Was deutsch und echt, wüsst keiner mehr», – поет Ганс Закс. «Что истинно немецкое, никто не знает больше». Николай

Иванович ушам своим не верит: чистый Шаляпин! Только на чистом немецком. Кто же это? Как Шиллера декламирует. «Ehrt Eure deutschen Meister!» – «Немецких чтите мастеров!»

«Вы слушали...» – или там «мы передавали...», в общем, это была трансляция «Мейстерзингеров» из только что открывшейся после ремонта Оперы на Бисмаркштрассе. (Ну и дела, идем с опережением графика. Еще один пришелец из будущего, из недалекого будущего. На открытие Немецкой Оперы действительно давались «Мейстерзингеры» в новой постановке, с Вильгельмом Роде в роли Ганса Закса, но произошло это в следующем сезоне. И зажигательные речи произносились, и тоже тварями, причем какими! Глядишь и понимаешь: непродажная тварь страшней продажной в тысячу раз.)

Съев «бёмише занэторте», выпив кофий, прослушав «Нюрнбергских мастеров пения» – и расплатившись за все, Берг вышел. Но прежде замедлил шаг: в другой ячеее придурковатый тип, кивая склоненной к наушнику тупой своей башкою, то и дело подавал голос: «Хо-хо! Держи карман шире... Так он к тебе и приехал... Да что ты говоришь?..»

До четверга катафалком правит один – такой же придурковатый, только из Белграда. Всего погребальных автофургонов в конторе пять и семеро шоферов: Готтов, Берг, Кошник, Сарториус, Краузе, Оболенский и Божич. Сами расписывают вахту: кто, когда и куда. Мудроу это безразлично, вернее, тем, кого так зовут. На самом деле они давно уже никакие не Мудроу, владельцы сменились.

Но четверг – это в дальней перспективе, сегодня вторник и сегодня Николаю Ивановичу таксёрничать до утра. Время от времени подряжался. На ночную работу – всегда пожалуйста, хоть таксистом, хоть сторожем, хоть судомойкой, хоть половой щелью из притчи о потерянной драхме. В темноте спрос всегда выше предложения.

Весь день провалялся Берг со своею музой на заголившемся матрасе, которого не стыдился лишь перед нею одной. Встал, когда предметы в комнате ужинали: липкий стол облизывал ложку, хрустели хлебной крошкой ножки табурета, чугунная плитка уже которую неделю лакомилась убежавшим молоком. В сумерках это было ужасно аппетитно, включить свет значило испортить всем аппетит.

Через четверть часа исполнятся сутки, как был произведен опыт над Лилией Долин. Маленький юбилей. Чтобы его отпраздновать, Берг достал из буфета на четверть съеденную булку и доел ее вприкуску с рафинадом – любимое кушанье с детских лет. Напился из носика, остальное вылил в горшок, оставшийся от прежнего жилья вместе с чайником (горшок – цветочный). И, подученный своей музой, пустой этот чайник завернул в немецкую газету. Николай Иванович был падок на газетные шапки: «Этот отец заколол свое сладкое дитя», «Кто зарыл обезглавленный труп на краю леса?» Поэтому покойному «Рулю» или «Газете», доживавшей свои последние месяцы, предпочитал «Берлинер иллюстрирте».

Так и зашагал в таксомоторный гараж с большим свертком под мышкой. Если б он сам себя повстречал на улице, то подумал бы: вот, несет отрубленную голову, необязательно Калафа, может телячью, но – голову. В автомобиле сунул ее (чайник, господи) в дырку от запасной шины и пошел выписывать «шайну».

Сейчас самое пассажироемкое время. На тебя кидаются толпою, но везунчиков в этой толпе раз-два и обчелся. Например, позабывший впопыхах свою трость – в отличие от сдачи – везунчик на коровьи бега: там ждет его любовь. Шляпа на нем подбоченилась только наполовину: слева поле загнута вверх, справа опущено.

По *случайному совпадению*, у следующего полуопущено правое веко. Неверными пальцами он берет папиросу, закуривает лишь от третьей спички – снайпер давно бы уж пристрелил. А может, давно уже и пристрелил и позади тебя подскакивает чучело с небрежно вставленными стразовыми глазками? Таким вроде бы не до сдачи. Но когда едешь на последние... надо еще, чтоб на цветы хватило и на перонный билет.

Или везунчик в казино, оттуда будет не везунчик, а на своих двоих идунчик.

До полуночи ездят, по преимуществу, в половинном составе. Дама и валет в хорошо перетасованной перед началом игры колоде редко оказываются рядом – рядом они ложатся на стол. Да так и остаются, на пару сметенные в отбой. Отбой у них ближе к трем, когда все чаще говоришь «данке шёёён» – в ответ на командирское «отставить», относящееся к твоей руке, якобы отсчитывающей сдачу.

Но возможны проявления нетипичного, градации внутри образа: баранья нога скандала, посыпанная крупной солью слез, или куриная ножка – в золотисто-лоснящемся чулочке. Поверх плечика пушнина, завитки возле ушей, утомленный взгляд. Дует на горячее округленно-альми губками. Вамп. Герр Альберих сам открывает ей дверцу – перстами, униженными на сумму, равную той, что недосчитались в сейфе.

– Езжай домой, сокровище, не сердись. Гейнц еще должен отвезти твоего малыша к Оппенгеймам.

Только тронулись, хребтом чувствуешь: позади ерзанье.

– Меня укачивает, откройте окно...

Тормозим.

– У вас есть средство от головной боли?

Напротив Löwenapotheke.

– Купите и скорей возвращайтесь. Вы знаете, что нужно купить... Вот вам деньги.

– Мадам, я не приму от вас денег.

– Я так и подумала. Гейнц всегда у меня берет. Вы русский князь? Ах, вы цигойнер барон... Я знаю один пустырь в Грюневальде. Или хотите показать мне свой табор? Ах мал мала меньше... Камасутра писалась в фиакре с опущенным верхом.

С ночным шофером такое приключается раз в тысячу и одну ночь. Не будем переворачивать страницу. На пустыре, куда они въехали, громоздились кубометры стройматериалов, покрытых толем. Но пока что массовому проникновению сюда человечества предшествовали единичные вылазки. Вдалеке у леса маячила фигура. В предрассветной мгле не разобрать ни чем привидение занимается, ни какую может таить опасность для двух священнодействующих. Не похоже, чтобы погасивший фары автомобиль привлек его внимание.

– Что он там делает? – шепнул Берг.

– Не видите, с трупом балуется, – к подозрительному соседству она отнеслась легкомысленно: мы не мешаем ему, он не мешает нам.

Между двенадцатью и часом у ночного таксиста передышка. Вечер простер перепончатые крыла равно и над теми, для кого лишь начинался, и над теми, кто, наскуча всем – и всеми – вот-вот ускользнет. Давеча ливрейные Kutscher'ы с бакенбардами, бритые subman'ы, усатенькие postillon'ы – а в России лихачи и поодаль ледащие ваньки – выстраивались в ожидании господ, коротая время в разговорах. Так же и шоферы теперь подсаживаются друг к другу поболтать. Или с серьезным видом читают газету. А если книжку – то по-русски. Кто-то ест припасенный шинкенброт. Кто-то, запрокинув голову, спал. Что до Николая Ивановича, то он имел обыкновение заезжать в крепри, работавшую всю ночь напролет – французскую блинную, которую держала чета из Эльзаса. Николай Иванович намазывал горячий блин всем подряд, медом, шоколадным маслом, мармеладом из фаянсового бочонка с вызывающей надписью – в сине-бело-красную вертикальную полоску: «Veritable confiture de pomme d'Alsace» – «Настоящее эльзасское яблочное повидло».

А кем-то в это время поедался наполеон. Берг, не отказывавший себе в том, что могло быть сочтено жизнетворческим порывом, сгонял и туда. Стал напротив, чуть наискосок. Уснувший дом походил на мертвый зуб, и только шесть окон праздновали полночь. Но сосед терпит, не жалуется домовладельцу на полуночников. Им можно. В «Комише Опер» спектакли заканчиваются поздно, публика расходится поздно, видишь, на лестнице вспыхнул свет... в сонном мозгу у соседа все смешалось.

Берг тоже видит, как на лестнице вспыхнул свет. Дверь парадной отворилась. Инженер Урываев с незнакомцем – уж не замена ли Николаю Ивановичу? Вышли и, как по команде «мальчики налево, девочки направо», зашагали в разные стороны. Николай Иванович смотрел в спину Урываеву: пальто, руки в карманах, скорый шаг. Так ходят в поздний час по безлюдной улице, глядя перед собой, целеустремленно.

Как прикажете это понимать? Не доходя до угла, воровато огляделся, пересек улицу и пошел назад. Направляется к такси. Николаю Ивановичу совсем не улыбалось, чтобы завтра все знали: он приезжал и караулил под окнами. Но Урываев прошел мимо. Он явно что-то затевал: спрятался за выступом дома – соседний расположен в глубине, отгороженный от улицы палисадником. Это уже становится интересным.

В парадной снова светло. Вышла целая компания: мужественный юноша, всегда в пудре и трауре, Вася, которая сразу же взяла Макарова под руку, еще барышня, страдавшая редкой формой шизофрении: раздвоением внешности – и в результате разделившаяся на две.

Ушли. Что дальше? А дальше Кошмарик. Покрутив головой налево-направо, перебежала улицу прицельно – к тому месту, где скрывался Урываев. В зеркальце было видно, как он шагнул к ней и увлек ее в кусты.

Берг воспрял духом, но дал моменту созреть. Потом переключил на задний «ганг» и с потушенными фарами резко подал вдоль тротуара.

– Александр Ильич! Розалия Фелициановна! Прыгайте в мой фиакр! Индия может утереться, фиакр – родина камасутры, – он произносил это в черноту зрительного зала – открыв дверцу и высветив себя.

Тишина.

– Может, за фельдшером съездить, а? Александр Ильич! Волки, если попадает лапа в капкан, ее себе отгрызают.

Николай Иванович совсем позабыл о чайнике, а на приборной доске стрелки флюоресцентных часов торопили: скоро опустеют полотна Отто Дикса, сошедшим с них даешь оливковые таксомоторы!

– Ну так я за фельдшером.

И уехал.

По дороге в «Адлер», где обычно останавливались советские товарищи, Николай Иванович искушал себя: появиться в четверг как ни в чем не бывало у Ашеро́в? Побеседует с хозяином. «Давид Федорович, ваши немцы называют “Фауста” “Маргаритой”». – «Если б Гуно написал “Войну и мир”, ее в России просто бы не ставили». – «Опера “Война и мир”? Ария Кутузова? Забавно». Воздаст должное милльфею. «Вы, Маргарита Сауловна, ни дня без строчки».

Как бы держался Урываев? А Кошмарик? Для них единственный выход: *понятия ни о чем не иметь*. Было темно, не было лиц. А на маскараде все можно – и им, и ему. Да, мы знаем, что ты знаешь, что мы знаем, что ты знаешь... Как будто угодил в анфиладу зеркал, *mise en abyme*<sup>6</sup>. Неосторожное словечко, неосторожное движение, и зеркало вдребезги. Уличили себя.

Лилия Давыдовна, Лилия Долин... Завтрашнюю ночь еще таксёрит, а с четверга снова «харонит». Возьмет и придет вечером. Что, выставят?

В шоферском кожаном кепи, делавшим его невидимкой в глазах гинденбургоподобных швейцаров, Николай Иванович направился в рецепцию: ему поручено передать фильм-продукту Васильевскому...

Консьерж опускает глаза, переводит взгляд на «решето» с ключами.

– Он у себя. Я вас соединю.

<sup>6</sup> Помещение в бездну (*фр.*). Художественный прием с целью передать бесконечную повторяемость.

Берг вошел в кабинку. Раздался звонок.

– Алло, Родион Родионович...

– Сейчас дам его («Родя, тебя...»).

– Да.

– Добрый вечер, Родион Родионович.

– Добрый. Кто это?

– У меня для вас пакет.

– Что за пакет?

– Я вам все объясню. Да вы сами увидите.

– Хорошо, поднимайтесь.

– Понимаете, я в коляске.

– Ладно, сейчас буду.

Васильевский вышел без галстука. Выйдя из лифта, принялся искать глазами инвалидное кресло. (Николай Иванович дебютировал в жизнетворчестве на сходном материале, с привлечением ребенка-калеки. Цель: маленькое, но едкое недоразумение.)

Николай Иванович окликнул Васильевского.

– Вы? – удивился тот. – А где же обещанная коляска?

– Она снаружи. С девяти до шести я развожу в ней инвалидов... Учтите, у вас номер на двоих, а подарок у меня исключительно для вас. Держите?

– Что это?

– Разверните. Из почтения к вам я специально завернул в настоящую газету, не в эмигрантскую.

Тот, развернув:

– Ну и как прикажете это понимать?

– Как, вы не узнаете родимое пятно на боку? С этим чайником ваш отец пошел за кипятком.

Родион Васильевский-младший хлопал глазами, словно собирался взлететь. Несколько раз открывал рот, но только сглатывал.

– Узнали, да? – участливо произнес Берг. – Это мне досталось от предыдущего жильца. Он повесился из-за вашей негодницы-сестрицы. Сама Васенька не в курсе... я о чайнике. Матушка и подавно не в курсе. Ей лучше не рассказывать. У Родиона Васильевича давно другая семья, другое имя. Это имя вам знакомо. Отрадно сознавать, что на чужбине его талант не стерся. Он кинопродюцент, третья фабрика Голливуда. Может, это примирит вас с Голливудом. А может, еще больше оттолкнет. Он начал жизнь с азов, как многие в Америке. Это в Европе мы живем прошлым. Слишком уж культурно ей обязаны, слишком уж все здесь напоминает о России. А Америка тебе говорит: о'кэй, все прошло, как с белых яблонь дым.

Пальцы Родиона Родионовича шарят под кадыком в поисках запонки: расстегнуть... не была застегнута... был без галстука.

– Выйдемте отсюда куда-нибудь, – сказал он.

– Сделайте одолжение.

Нелепо засеменили вдвоем в одном из клиньев вращающейся двери, куда Васильевский ринулся следом за Бергом. Он наступал ему на пятки. При этом под мышкой держал чайник – как позирующий перед камерой вратарь держит мяч.

– Извините, что не зову к себе, у меня дама. Музой зовут, представляете? О имена, о нравы. Сейчас вы услышите историю любви. Хотите, уединимся в моем фиакре?

Истории эти все «на одно лицо»: Вертер, купринский Желтков... Этого звали Русей – о котором рассказывал Берг и после которого остались чайник, герань да еще коробка с письмами, переданная хозяйкой новому жильцу, благо тоже был «русся». Написаны они слогом, на какой даже в пьяном виде не каждый способен. Но Руся сходил с ума по Василесе – сходил,

сходил да и сошел. Писал на конверте свое имя и собственный адрес, отправляя письмо «бесценной Васеньке Родионовне» и «Васеньке-котеньке» – так, по-земному ластился он к Прекрасной Даме. То был сад радостей земных, а не вертоград небесный. И штемпель черной смазанной радугой в углу марки подтверждал: письмо как письмо, в сумке у почтальона все такие.

– Мое мнение: он специально надрезал конверт женскими маникюрными ножницами с загнутыми концами. Воображал себя в такие моменты Василисой. Я иногда беру у хозяйки эти ножницы – срезать заусеницы. Однажды он написал дословно следующее... у меня фотографическая память, вижу каждое слово, стоит закрыть глаза.

И закрыл. Он и впрямь читал – глаза под веками двигались. У Николая Ивановича было мало общего с безглазыми прорицателями, что вещают голосами умерших. Читал Николай Иванович, как вслух читают чужое письмо, – своим голосом:

«Свет мой, сестрица Васенька, читая это, твоя грудь будет высоко вздыматься и легкое дыхание сменится тяжелым. Как у маменьки, когда состригала конверту ноготок. Он был белый, плотный, здесь такие продаются по пять копеек штука. А в нем тонкий кремовый листок, сложенный содержанием вовнутрь. Я угадал, от кого. От Человека. Он посмотрел на женщину с пятилетним худолоем на руках и пропустил вперед себя. А на станциях очередь за кипятком блюдут строго. Маменьку вытолкали, а его за благородство и что заступился побили в кровь. Поезд уехал, он остался лежать без документов. Но маменька не из тех, кто платит черной неблагодарностью. Она ухаживала за его побоями и уложила в вагоне на наше место. Они были квиты, он потерял мать своих детей, она потеряла отца своего. Им было хорошо. В Шанхае ему исхлопотали документы на американское имя. Так его не стало. И вдруг письмо с того света, а в него вложено сто долларов. Он пишет, что взялся за старое и собирается жениться. Мы с маменькой тогда смотрели фильму, и это имя стояло в первых титлах. Маменька берегла этот чайник и перед отъездом дала его взять с собой».

Берг был большим артистом жизни, с которой постоянно творчески конкурировал. Что удачно, в этом он не сомневался. Молчание было ему аплодисментами. Аплодисменты затянулись, перешли в овацию. Берг первым ее прервал.

– Мне пора. Иначе без выручки останусь. Газетку можете мне оставить, если не стесняетесь: коммунисты в Берлин со своим чайником.

Карман Родиону Родионовичу оттопыривала смятая в ком газета. Бергу она пригодится. В тот день «Берлинер иллюстрирте» вышла под шапкой: «Людоеды среди нас: Гельмут, где брат твой Вилли?».

Следующий день он провел, как и предыдущий, в объятьях своей дамы, деля с ней восторги и матрас в разводах, который так и не удосужился прикрыть сбившейся простыней. Восторгам не было конца. Снова и снова мысленно возвращался он к творческим триумфам минувшей ночи. Блистал парадоксами, поверяя ученикам сокровенное:

– Древние говорили, прыгая на одной ножке: не делай другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. А я говорю: именно делай! Делай, даже если тебе воздастся тем же. Пламенный жизнетворец готов ко всему. Гений обречен страдать. Быть непризнанным и неузнанным – привилегия божества.

Прелестен «Кошмарик в кустах». Восхитительная арабеска. А землятресение целой жизни в отеле «Адлер»: Бог-Отец жив, значит, тебя распнут. Первая мысль: а не возвратиться ли к блудному отцу в надежде, что заколет он тучного тельца? «Экстра-блатт! – кричат продавцы газет. – Экстренный выпуск! “Исчезновение члена советской делегации”! “Советская делегация возвращается в Москву не в полном составе”! “Мать и сестра Родиона Васильевского ничего не знают о его судьбе”! “Еще один русский стал невозвращенцем”!»

Безымянный творец, он творит не на холсте, не в камне, не среди фанерных рощ и дворцов, привезенных со склада на детском грузовичке, – он ставит пьесу жизни. Присутствуя в зале

инкогнито, он не выходит на аплодисменты. В царстве, что не от мира сего, Первое Лицо тоже блещет парадоксами – тоже анонимен, хоть и охоч до славословий: laudate! Требую почитания двадцать четыре часа в сутки, но не желаю представиться. Вот и «гадали толпы в тишине, кого же славили оне». Но в первую голову гадаем: почему Он не открывает Своего Имени? Бойтся нас испепелить, исполненных непосильного знания о Нем? Или Себя сокрушить, пометив яйцо с иголкой? «Киндер-сюрприз» тем и завораживает племя молодое, неразумное, что пока не заплатишь, не узнаешь, что там внутри: грузовичок с запиской «Слушайся папу и маму», или двухместный аэроплан с запиской: «Нерешительный теряет половину жизни». Племя молодое, неразумное переплачивает: шоколаду в шоколадном яйце с гулькин нос. А Николай Иванович сейчас спустится и купит большую плитку – но и он не может решить: с лесным орехом или с изюмом. Неожиданно для себя берет с фруктовой начинкой.

Подкрепившись и угостив развалившуюся на матрасе музу, он возобновил свои приставания к ней: «Как-то случилось такое дело: повелела рука в перстнях отвезти себя к Оппенгеймам, а свою фрау супругу таксисту доверил. Доверчивый. Выруливает потом поутру из гаража приозерной виллы “линкольн”, надраенный, как штиблет рабовладельца – или пылает в воротах средневековым радиатором “даймлер-бенц” – а дорогу загородило темно-оливковое такси. Он – сигнальщик. Будто не видит: таксист и так крутит кобыле хвост, семь потов сошло. Мотор заглох. Нет, он еще высовывается из окошка, холуйская рожа, орет что-то... Гейнц! Вспомнил имя того катая, что в Грюневальд хозяйку катывал. Подхожу к нему и на ухо: “Гейнц (в глазах оторопь: знает мое имя... откуда... что ж это такое... в обличье таксиста...), бери трос, слышишь, Гейнц? И тащи нас на буксире, меня и машинку. До бензостанции. У нас бензин кончился. А перстнявому своему соври, что... что-нибудь, не мне тебя учить. Что хотел только от ворот подальше отбуксировать, а оно сцепилось, и без фельдшера не расхомутиться. И смотри, чтоб полный бак. Да не забудь заплатить, я тебя, скупердяя, знаю. Сколько ты заработал на лекарствах для гнедиге фрау, а? Щель ты межъягодичная! Сейчас все и спустишь: бак-то у меня бездонный. Да, мой Данаид?”».

Или позвоню в звонок. В шоферском кожаном кепи, избавлявшем от лишних расспросов... про кепи не надо, уже было... Звоню: пусть доложит, лекарство из аптеки Льва для дамы. Дама заказала.

Легка на помине. Делает большие глаза: «Я не вызывала такси». – «Я доставил лекарство для гнедиге фрау». – «Сколько я вам должна?» – «Уплачено». – «Тогда в чем же дело?... Луиза, сколько можно вас звать. Я разбила...» У немецкой прислуги все написано на спине, на лице ничего. Удалилась.

«Я позволю себе обратить внимание вашей милости... в “Берлинер иллюстрирте”... сейчас разглажу... “Людоеды среди нас”. Видите? “Гельмут, где твой брат Вилли?” Вы угадали, это был Гельмут. Вы еще сказали: “С трупом забавляется”. А он отрицает. Полиция в недоумении: на такси он его доволок, что ли? Запросили имена всех ночных шоферов. Уже знают, что автомобиль с погашенными фарами стоял неподалеку, он там часто стоит».

Допустим, она его спросит: «Как вас зовут?». Ответ: «Меня зовут точно не Гейнц. А вас, полагаю, точно не Луиза. Вы знаете: наша жизнь в руках тех, кто нас возит». Она угрожает: «Кто ездит к Оппенгеймам, тот опасен... кто ездит к Оппенгеймам, тот носит перстни нибелунгов. (Это хорошо. Рука, унизанная кольцами нибелунгов.) Он вас убьет». – «А Гейнца? А еще скольких? Ему одному не справиться с тысячей. Или нас больше тысячи? О скольких из нас сохранила память ваша вагина, сударыня, о чем бы она нам поведала, если бы разговорились? “Пегас”? Крылатые коники? На любительницу. Есть любительницы полетать на заднем сидении, а есть любительницы исполнять фигуры высшего пилотажа под облаками – чтоб от страха душа в пятки, когда сосняк кубарем навстречу».

Хватит выдерживать характер. В четверг прийти на Фазаненштрассе и посмотреть, как там Старшая Дочь царя Даная... А гордая полячка и ее коханий? Встреча с ними обещает творческое наслаждение, по интенсивности не имеющее равных.

Но в четверг вышло по пословице: человек предполагает, да Бог располагает. Николай Иванович вернулся домой в пять вечера с корявой мыслью: завтра же прибраться должен, на долг уже налипали проценты – подметки к полу клеились. Но хроническое «завтра» исключает «сегодня». То, что будет завтра, произойдет не с нами. Другими словами, не произойдет никогда.

Разул туфелю о туфелю, пошевелил пальцами внутри прохудившихся носков, выходило отчасти снаружи. Принял горизонтальное положение. На груди фунтик с засахаренным миндалем, как цветы на крышке гроба. Цветы в последний путь – это конфеты на дорожку. Однако приедается изо дня в день принимать последний парад. Сколько можно их туда возить. Борьба за жизненное пространство на кладбище приведет к тому, что гробы в могилах будут как гильзы в газырях – стоймя стоять.

С фунтиком засахаренного миндаля на груди Николай Иванович взялся за газету, еще не прочитанную – не люблю впопыхах. На первой странице «фото дня». Им оказался день вчерашний. Мутный снимок времен войны. Корабль затянута дымом, с трудом различим британский флаг, в верхнем углу снимка, в кружке, лицо героя... что? «Победитель английской авиаматки рухнул на Грюневальд. Легендарный Манфред фон Шписс на своем “Пегасе”... Репортаж с места событий... катая свою даму по утренней лазури, перерезвился, потерял власть над рулем и со свистом, с треском нырнул прямо в сосняк. Я – то бишь он, репортер – пришел, к сожалению, с опозданием: обломки успели убрать, два полицейских верхами ехали шагом к дороге, – но еще был заметен отпечаток удалой смерти под соснами, одна из коих была сверху донизу обрита крылом...»

Николая Ивановича тряс лямпенфибр. Артист жизни замечательнейшим образом спасовал. В таком состоянии, запершись в уборной, артист уже не внемлет угрозам импресарию. Он не выйдет на сцену, он не явится к Ашерам в костюме профессионального харона разделить с ними нечаянное горе. Не скажет Урываеву: «Как же вам, Александр Ильич, не ай-яй-яй? А еще хвастался: может “Пегаса” по косточкам разложить и сложить...» Не прижмет кремовые от милльфёя уста к его уху и не зашепчет горячо на весь зал: «Я бы на вашем месте подыскал дом повыше да и последовал бы примеру Манфреда фон Шписса и его спутницы. Готов предложить вам свое окно, оно себя на этот предмет хорошо зарекомендовало. Мой предшественник провел успешное испытание... Вы, Розалия Фелициановна, тоже хороши. Человек и ползать-то не рожден, а вы ему: летайте! Надеюсь, вы не сильно травмированы позавчерашним приключением в кущах. А то как вспомню, так вздрогну».

Артист заперся в уборной и не выйдет на подмостки жизни. Напрасны уговоры и мольбы за дверь. Врет, что на него напала медвежья болезнь. Стук в дверь не прекращался. Почему не позвонить по телефону? В довоенное время жившую здесь прислугу вызывали колокольчиком, от которого остался крюк у дверного косяка (как от газового освещения осталась заляпанная штукатуркой трубка на потолке). Чтобы жилец, пришедший на смену прислуге, отворил дверь, гостю следовало постучать медной колотушкой по крошечной медной подковке, прибитой над замочной скважиной. И вот кто-то стучал по ней, не переставая. Ковал несчастья ключи. Мол, не делай вид, что тебя нет дома, я знаю, что ты у себя, и я все равно не отступлюсь – достучусь, дозвонюсь, докричусь. Это напоминало визит заимодавца к должнику.

Николай Иванович не пользовался услугами кредиторов. Предположить, что по ту сторону двери столпились блюстители закона, также было весьма затруднительно – законов он не преступал, да и у стражей порядка в обычае подкреплять свою настойчивость словами: «Полицай! Ауфмахен!». На что ты либо отстреливаешься, либо отпираешь.

Удары в дверь связались с ударом аэроплана о землю, помноженным на тираж газет. Нет, не напрасно Пегас сразился с грюневальдским сосняком: наученный опытом сосняка, так и не расступившегося, Николай Иванович открылся, как сезам:

– Вер ист да?

– Открывайте... Открывайте...

Голос знакомый. Но знакомого тем более не собирался он впускать в свою обитель. Никому не позволял он лицезреть свою персону в домашней обстановке.

– Сейчас оденусь и выйду, я отдыхал.

Он полагал дать аудиенцию на авансцене при опущенном занавесе. Для этого обулся (Митя Карамазов тоже стыдился «некрасивого ногтя») и, сняв с гвоздя халат, прикрыл им несовершенства своего туалета. Но Макаров – это был художник Макаров – буквально втолкнул Николая Ивановича назад и сам закрыл дверь изнутри.

– Вы с ума сошли! А если у меня женский пол?

Гребешок на верхней губе у художника яростно сверкал. Протесты Николая Ивановича как-то сами собой растворились в том, что он увидел: Макаров держал чайник, который... вот... возвращается на прежнее свое место после столь недолгого отсутствия.

Неотвратимость возмездия, написанная на его лице и на усах, не исчезая совершенно, тем не менее отступила на задний план. Под женским полом подразумевался липкий пол. Лицо Макарова выразило смесь ужаса и брезгливости. Он, который больше чем клиент в вашсалоне; чьи воротнички и манжеты были чисты, как непорочное зачатие, ибо хорошо тому живется, кто с молочницей живет, – он, художник Макаров, перевел взгляд с кровати на горшок, с горшка, где агонизировала герань, на раковину в ржавых подтеках, которую через равные промежутки времени с барабанным звуком орошала капля, медленно созревавшая в ноздре крана. И у него прошла всякая охота что-либо говорить. Смазать пару раз по морде... тростью. За сплетню, представляющую Василису Родионовну виновницею чьей-то смерти. За гнусный поклеп на ее отца, унижительный для ее матушки да и для всей семьи. Но кто, скажите на милость, кто из русских ходит сегодня с тростью?

Николай Иванович констатировал неудачи на всех фронтах, подумывая, что окно – это проще, чем веревка. Васильевский-сын, вместо того чтобы поспешить в Голливуд к отцу, поспешил с чайником к матери: этот или нет. («Нет, у нас был высокий».) А если б оказался этот? А если б это ее убило? А им там что, их там приучили отрекаться от родителей. От отца, колченого портняжки в театральной мастерской...

Макаров пустил воду из крана, которая заколошматила по жести проливным дождем, разлетаясь брызгами в разные стороны. Подставил чайник – звук струи сразу округлился. Когда убрал, забарабанило снова. Не удосуживаясь завинтить кран, под барабанную дробь он не спеша вылил всю воду на макушку Николаю Ивановичу, который застыл, не подавая более признаков жизни, по крайней мере, не подавая их более, чем это делала его герань.

– В порядке дезинфекции лучше б кипятком, – сказал Макаров.

Но когда он сделал шаг к двери, Николай Иванович проговорил:

– Я не позволял вам удалиться. Сейчас я покажу вам фигуру высшего пилотажа, – он подошел к окну и легко, без помощи стремянного, оседлал подоконник. – На самом деле тот, кто жил здесь до меня, долго, слишком долго не доставал ногами до пола... повесился... окно опробую я. Васенька внизу? Вы не успеете к ней спуститься, я буду прежде.

У Макарова полезли глаза из орбит.

– Вы совсем псих или прикидываетесь? – так могла бы спросить Васенька, а не мужчина. Это от растерянности.

– Я совсем не псих. Выбирайте выражения... И не смейте ко мне приближаться! А то еще подумают... Конечно, подумают, – радостно размышлял Николай Иванович вслух. – Вам меня не опередить. Только разве что прыгнете первым. Э-э, да вы в западне.

- Слезайте, не валяйте дурака. Слезайте, и об этом никто не узнает.
- Да рассказывайте кому хотите. Это вскроет мотив. Преднамеренное деяние.
- Глупостей не говорите. Вы больны...

– Молчать! «Истребить, ибо болен»... Что бы мне такое для вас измыслить? Какой подвиг силы беспримерной чтобы вы совершили? Чтоб античный, по нынешним временам...

Макаров не сводил глаз с Николая Ивановича. Его учащенное дыхание было дыханием страха, а не дыханием ярости, пусть даже бессильной. От усов не осталось и следа. Николай Иванович сбрил ему авиаматку – повторил подвиг Манфреда фон Шписса. Глядишь, и дальше пойдет по стопам героя. Макаров малейшее движение Николая Ивановича ловил снайперским глазом. Или как если б, безоружный, сам был взят на мушку.

– Вот таким тебя люблю я, вот таким тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля... да выключите воду, наконец! Мешает сосредоточится. Слышали, что я сказал?

(Купальщик допрыгался, ухо тепло обмочилось и, разложенное, наполнилось шумом городского лета: трамваев, гудков, отдаленным грохотом стройки.)

Потом на смену шуму воды из крана пришла глухота начинающих сумерек. Все в полном контражуре: постель горною грядой, шкаф с гостеприимно не закрывавшейся дверцей, на ощупь вдоль стены раковина, заставленный чем-то стол, спиртовка. И в центре этого мироздания человек, обуреваемый страстями, звать его художник Макаров.

– Mehr Licht<sup>7</sup>, – сказал Николай Иванович, а Макаров, обострившимися чувствами воспринимавший окружающее, уже вообразил себе предсмертные слова Гете.

– Да будет свет! «План ГОЭЛРО» в большевицком Писании. Выключатель поверните. Хотите великую тайну? Чем отличается Предвечный от Демиурга – тем же, чем Бог-Замысел от Бога-Слова. Я Бог-Слово и создаю мир вокруг себя. Я сейчас встану и выйду в окно. Я покончу с неудавшимся творением рук моих. Вы, Макаров, не верите в то, что я – Демиург и что вы творение рук моих? Каждому воздастся по вере. Для вас я такой же человек, как и все. Тем лучше, у полиции будут веские основания вас арестовать. «Зачем вы пришли сюда? С какими намерениями? Может быть, между вами вспыхнула ссора?» – «Какая ссора, господин комиссар? Никакой ссоры. А что полно воды на полу, так это хотели продезинфицировать... Я его выбросил в окно?! Смешно!» Согласен, убить Демиурга – смешно. Но когда вы скажете им, почему это смешно, это только усугубит их подозрения. Они тоже не поверят, что я – разочаровавшийся в себе Демиург. У вас один выход: убедить меня в том, что творение мое удалось, что мир, созданный мной, прекрасен и я не должен сводить с ним счеты. Докажите это. Совершите подвиг, достойный Геракла. Чающий движения воды да очистит сии Авгиевы конюшни. Половая тряпка под раковиной, веник и совок в прихожей за дверью. Все грязное белье вяжите в узел. Вымоете пол. Вперед, сыны отечества!

Макаров не шелохнулся. Он сделался как вырезанный из другой ситуации и наложенный на обстоятельства, к которым не имел никакого отношения.

– Столбняк играем? Котенька Васенька вас заждется. Поднимется – предупреждаю: сами впустите. Будете ей объяснять, что я оборотился в нырка.

«Вытирание ног» – специфический ритуал, своим возникновением обязанный непролазной грязи кругом. Этому немало аналогов, сообразно местным особенностям. Николай Иванович вспомнил Танжер, где проштрафившегося легионера заставляли зубной щеткой вычищать казарменный пол. Генеральная уборка есть генеральная порка.

.....  
.....

– Не буду больше... Выбрасывайтесь. Вы этим кончите... или психиатрической клеткой.

<sup>7</sup> Больше света (нем.).

– Думаете, посадят на цепь? Ладно уж. Еще впрямь посадят. Зубную щетку подчистую извели. Не забудьте мусор вынести. Бак во дворе. Смотрите, аккуратно. Да и крышку потом опустите. Иначе соседи вас вахмистру сдадут. А я обещаю, что об этом никто не узнает.

Когда Макаров входил сюда с чайником, можно ли было предположить, что он уйдет отсюда с мусором? Однако Берг смущен своим триумфом: телега впереди лошади. Творческий акт, который прокладывает дорогу своей идее, находится в непредсказуемых отношениях с конечным результатом. А у Берга все по плану. Эскиз должен предшествовать картине, а не наоборот. С другой стороны, предварительные наброски, в трудах над которыми проходят дни, не отправляются же они *post factum* в бак во дворе. Оглядываясь, видишь, что из усилий твоих ни одно не пропало. Только во главу угла легло отнюдь не то, чего ждал... хотя даже этого не скажешь со всей определенностью.

Интерпретатор-невидимка вдохновенно разыгрывает по знакомым нотам неведомый композитору опус – плод их совместного творчества. Где твой соавтор? Что он? Что за диковинная тень, переросшая того, кто ее отбрасывал? Такую тень не втянешь в себя, не скажешь ей: исполнитель, знай свое место.

Бергу ничего другого не оставалось, как забыть первопроект. Так одновременно со стуком в дверь сон задним числом переписывает свой сюжет. Если у земных царей законы имеют обратную силу, то неужели Царь Небесный наделен меньшей властью. А когда этот царь ты сам и нет у тебя других царей, кроме себя, зачем держаться за начальный замысел, как тонущий матрос – за неразорвавшуюся мину. Подсматривать в заранее написанные шпаргалки предоставь честной бедности, исполненной горделивым сознанием: *совершается то, чего я желал*. А если нет? А если честная бедность обернется суицидом, особенно когда проживает высоко и боится высоты? (Какая мука была выдержать это сидение на подоконнике! Возвыситься, чтобы пасть. Наоборот не бывает, пасть, чтобы возвыситься, не бывает – слышишь, червь христианский, пресмыкающийся у моих ног!) «Что свершается, того я и желал» – вот принцип свободы, с которой приходит бесстрашие. И тогда, катая свою музу по утренней лазури, ты больше не нуждаешься в незримом тросе домашних заготовок. Свобода это когда не читаешь по бумажке.

Сегодня последний день лета, среда.

(Открыт автобан между Бонном и Кельном, первый в Германии В Севилье и Мадриде неудачей закончилась попытка пугча «Юнкерс-52» устанавливает новый рекорд: за три часа, сорок три минуты и двадцать девять секунд совершает перелет по маршруту Цюрих – Женева – Милан – Цюрих • В Бреславле состоялась демонстрация хроникальной кинофильмы «Битва при Танненберге» • Альфред Розенберг пишет в «Фёлькише Беобахтер»: «Человек не равен человеку: одно и то же деяние оценивается в зависимости от того, кем свершено» • Даунинг-стрит поддержит принца Ибн-Дауда в его стремлении создать на Аравийском полуострове единое государство • Кобург готовится к бракосочетанию Густава-Адольфа, старшего сына наследного шведского принца, с Сибиллой, принцессой Заксен-Кобург-Готтской • Гамбург встречает немецких атлетов, завоевавших на олимпийских играх в Лос-Анжелесе пять золотых, двенадцать серебряных и семь бронзовых медалей • С Гельмута Брудергерца снято подозрение в людоедстве: обнаруженная в пищевых отходах берцовая кость насчитывает триста лет. На основании анонимного телефонного звонка полиция располагает новой ценной информацией.)

В этот день, 31 августа 1932 года, «по случайному совпадению» именно бюро похоронных услуг Мудроу оказывало Манфреду фон Шписсу последнюю услугу. И опять «по случайному совпадению» катафалком управлял Берг – чему сам он нимало не удивился: в этом была своя логика.

Сперва Николай Иванович в рабочем порядке транспортировал тело с Гёттердеммерунгсдамм, где располагался морг рейхсвера, на Ционскирхенштрассе. Гроб с останками Пегаса

был накрыт флагом, на котором черно-красное освящено белым, а не позорит себя соседством чистогана<sup>8</sup>. Завершив первый, сугубо перевозчикий этап пути, Николай Иванович принял торжественный вид, насколько это подобало лицу, непосредственного участия в церемонии не принимавшему, больше ее механизатору – не то что четыре фрачника в цилиндрах, якобы имеющие обыкновение склоняться над покойным свои мучнисто-вампириские рожи, припав щекой к щеке<sup>9</sup>.

В Ционскирхе большинство из располагавшихся на скамьях держали цилиндры на пристойно сдвинутых коленях. Сюртуков и мундиров было взято в пропорции «конь – рябчик». По версальскому рецепту. Шляпок же, как душистого перца – для аромата.

Стоя в дверном проеме, Николай Иванович не видел привилегированный первый ряд. «Если б на Гарнизонное кладбище – не на Центральное, – размышлял он. – Как сойдется одна процессия с другой... врукопашную».

Черная металлургия платьев, визиток, пальто, «фуражка на крышке, сам под крышкой», рядом несут витрину золотых дел мастера при монастырской гостинице: кулоны, броши – всё в форме крестов. (А другие катят другой гроб. Девушка и ее смерть. Последнее, что у нее перед глазами: затылок в кожаном шлеме, о который расплющивается взгляд.)

Бесстрашие Николая Ивановича избирательно. Это подобно чувству перекинувшего ногу через подоконник. Это как видишь собственную фамилию в списке погибших. Он ничего не может с собой поделаться.

«Урываева не видно, а еще стремянный. Совестно, что не затянул подпругу? Или сразу на всех похоронах плакать...» Берг гнал прочь мысль о вторых похоронах, но она прилетала снова и снова, как оса на сладкое. Позорище! Он жизнетворец. Ему кричат: «На выход!», а он – нет. Его ждет отчаянная радость встреч: с Урываевым и Корчмарек,веряющими друг другу свою интимность; с Макаровым и Василисой,веряющими друг другу то же самое. Ангажемент до небес, а он – нет. Два имени не выговаривались, лица на них стерлись. Не могу смотреть. Хочу и не могу. Плод их обоюдной доверительности... «Старики-родители на могиле дочери». Сотвори чудо. Жизнь – чудо, жизнетворец – чудотворец. Нет, не могу.

Отец Николая Ивановича, может быть, еще жив. Этого Николай Иванович не знал. К началу восемнадцатого года театр, как служба, сдох. Началась жизнь после смерти, а это – торжество мизансцены. Второй план превратился в первый, первый план испарился и теперь он – зимний пар над Благовещенским собором, над кремлем, над башней несчастной Сюнбеки: желтый, опаловый, сизый – всех оттенков кровоподтека.

Тот, что с маузером, тот что говорит: «Нет Бога», – добавляет: «Кроме Аполлона». А отец ризничий его. Вот они и поселились в костюмерной. Многие тогда поселились в театре, как завелись в нем. И даже сдохшая, опера подкармливала. Давала охранную филькину грамоту. Аполлону фильки мирволят. О репертуаре можно было забыть. В ход шло все, что годилось для натурального обмена. Честней сказать, натурального обмана. Мешок картошки за несъедобную брошку! Это вопиющий обман трудового народа – ежели глазами космоса, взыскующего жизни. В космосе золото на вес картошки. Но мы смотрим с Земли, из райского сада, где жизнь ничего не стоит, потому что валяется под ногами.

Как всегда в конце лета распогодилось, но седьмого августа, когда на театре вывесили триколор, еще шел дождь, проливной. Третий акт «Андре Шенье» сменился первым. Только отрубленная голова не запоеет. Заведут пластинку, а это ненадолго.

Раннее райское утро, жизни кругом столько, что хоть лопатой гребь – ничего не стоит. Птичий гомон устлал собою небо. Вот-вот затрещит, зажужжит, зазвенит народец среди неко-

<sup>8</sup> То есть морт Рейхсвера находился на проспекте Сумерек богов (в русской традиции название этой вагнеровской оперы переводится как «Гибель богов»). Цвета имперского флага: черно-красно-белый, республиканского: черно-красно-золотой.

<sup>9</sup> «Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой».

шеной травы по склону балки. Небосклон празднует восход солнца. Николаша залег в секрете с травинкой в зубах – как на полотне передвигника: затаился и зорко следит за расставленными силками.

Ах, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети.

Николаша тоже ждет чьего-то часа, чьего – и сам не знает, поживем, увидим.

Ватное буханье с Волги, сопровождавшееся беженским потоком, предвещало перемену власти. Еще один предвестник – то, чего Николаша дожидался. А дожидался он зрелища «наступления смерти в преуказанный час». Веками Европа этим тешилась. Дозволили бы, тешилась и дальше. Дети и простой народ (тот же ребенок) с утра пораньше бежали на лобное место, чтоб лучше было видно. Им это не в срам. Это просвещенные классы прикрываются. Напрасно их учили: будьте как дети.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.